



ГЛАВА I.

Въ преддверіи XIX-го вѣка.

(Эпоха литературнаго мѣщанства).

До середины XVIII-го вѣка въ Россіи не было интеллигенціи, какъ преемственной группы внѣсословнаго и внѣклассоваго состава, не было и активной преемственной борьбы за опредѣленные идеи и противъ опредѣленной системы: были отдѣльные «интеллигенты» своего времени, была стихійная народная борьба съ насиліемъ (то польское нашествіе или петровская реформа), но не было интеллигенціи. Типичный русскій анархистъ Θεодосій Косой, типичный «либераль» XVI-го вѣка Курбскій, Котошихинъ, Хворостининъ, бояре Салтыковы («польская партія»), Посошковъ, Татищевъ—все это были отдѣльными, одинокими «интеллигентами»; но какъ ласточка одна не дѣлаетъ весны, такъ и отдѣльный интеллигентъ не создаетъ группы интеллигенціи.

Петровская революція сильно расшатала сословныя перегородки и хотя выдвинула на сцену новый историческій классъ — шляхетство, но въ то же время дала первый толчокъ къ образованію внѣсословной и внѣклассовой интеллигенціи. Дворянство помимо своей воли было воину въ жизнь Европы: и какъ ни поворачивали, но прививка европейскаго просвѣщенія, но число отдѣльных интеллигентовъ», начиная съ петровской эпохи, измѣряется тысячами и сотнями. Это еще не группа, это еще не идеология, это еще не идея, а просто отдѣльные интеллигенты nascendi... Достаточно было тр

кой, чтобы образовать группу интеллигенции, которая, начиная с них поръ, продолжаетъ свое преемственное развитіе. Это случилось въ серединѣ XVIII-го вѣка и проявилось въ только-что возникавшей тогда русской литературѣ.

Исторію общественной жизни XVIII-го вѣка начинаютъ съ Петра, исторію литературы—съ Ломоносова. «Петръ Россамъ далъ тѣла, Екатерина—душу», «Ломоносовъ создалъ литературныя формы, Карамзинъ дохнулъ въ нихъ жизнь»... ¹⁾. Не будемъ пока говорить, кто первый лилъ содержаніе въ формы, оставшіяся послѣ Петра и Ломоносова (во всякомъ случаѣ это были не Екатерина и не Карамзинъ), но согласимся съ тѣмъ, что дѣйствительно Ломоносовъ началъ ту же революцію въ литературѣ, какую Петръ—въ общественно-государственной жизни. Онъ началъ собою эпоху російскаго ложно-классицизма, съ которымъ намъ нужно познакомиться какъ съ тѣмъ фономъ, на которомъ проявилась начальная литературная дѣятельность русской интеллигенции. Прежде чѣмъ коснуться общественной жизни Россіи XVIII вѣка, мы остановимся на русской литературѣ этой эпохи.

Тутъ передъ нами проходятъ сплошной толпой: самъ Ломоносовъ, профессоръ элоквенціи и мужъ великаго разума—Тредіаковский, намѣстникъ Буаловъ и славный нашъ Вольтеръ—Сумароковъ, любимецъ музъ и грацій—Богдановичъ, творецъ безсмертной «Россіяды»—Херашковъ и прочіе представители того классицизма, который такъ мѣтко былъ окрещенъ Бѣлинскимъ именеиъ псевдо-классицизма. Этотъ псевдо-классицизмъ—тотъ общій фонъ, который полновластно царитъ въ русской литературѣ XVIII-го вѣка; этотъ фонъ и составляетъ то, что мы назовемъ литературнымъ мѣщанствомъ или *мѣщанствомъ формы*.

Трудно отказать многимъ изъ представителей русскаго псевдо-классицизма въ нѣкоторомъ несомнѣнномъ талантѣ; и это относится не только къ такому крупному таланту, какимъ былъ Ломоносовъ. Но полная безличность въ формѣ могла убить и не такой талантъ. Безличность же царила всеобщая. Никто изъ русскихъ псевдо-классиковъ XVIII-го вѣка не сумѣлъ вдохнуть «душу живу» въ мертвыя Ломоносовскія формы: это было по существу невозможно; никто изъ нихъ также не сумѣлъ сбросить съ себя тяжелое иго формы и на свою, особую дорогу. Единственнымъ исключеніемъ являлся Карамзинъ, но о немъ и рѣчь будетъ особо; всѣ остальные

¹⁾ Это мнѣніе впервые было высказано Гююры «Du développement des idées révolutionnaires». Это мнѣніе стало повторяться почти всѣми историками.

лись подъ ферулой псевдо-классицизма, такъ и остались представителями безличнаго, узкаго и плоскаго мѣщанства въ русской литературѣ. Ихъ безчисленныя поэмы, оды, повѣсти, трагедіи наполнены безжизненнымъ матеріаломъ, расположеннымъ зато по самымъ строгимъ правиламъ «искусства» и хитростей піитическихъ; все строго размѣренно, вылощено и до тошноты правильно:

... сперва прочтешъ вступленье,
Тамъ предложеніе, а тамъ и заключенье...

Искать въ этомъ проблесковъ жизни—неблагодарный трудъ. Даже у Ломоносова жизнь пробивается въ рѣдкихъ прочувствованныхъ мѣстахъ—и тотчасъ заглушается патетическими вскрикиваніями въ родѣ

Священный ужасъ мысль объемлетъ!

или:

Какую радость ощущаю?
Куда я нынѣ восхищенъ?

Вся эта псевдо-классическая бутафорія стоитъ на первомъ планѣ русскаго литературнаго мѣщанства XVIII-го вѣка, въ которомъ мы находимъ только слѣпое подражаніе Ломоносову и, въ лучшемъ случаѣ, западно-европейскимъ образцамъ (большей частью французскимъ). Вездѣ строгая регламентація, а потому и узость, каждаго чувства, каждой мысли, вездѣ равеніе въ ложно-классическомъ фронтѣ, вездѣ опасеніе, если не неумѣніе, проявить свою личность, свою индивидуальность. Однимъ словомъ, весь псевдо-классицизмъ является воплощеніемъ безличности, узости и плоскости; и по формѣ и по содержанию онъ несомнѣнно долженъ считаться весьма типичнымъ проявленіемъ мѣщанства въ русской литературѣ XVIII-го вѣка ¹⁾.

Это мѣщанство псевдо-классицизма было тѣмъ сплошнымъ сѣрымъ фономъ, на которомъ съ особенной яркостью выдѣлялись тричетыре писателя, въ родѣ Державина, Фонвизина, Новикова, Радищева; «чѣмъ ночь темнѣй, тѣмъ ярче звѣзды», и потому эти имена ярко сияютъ среди темной ночи всеобщаго мѣщанства. Объ этомъ мѣщанствѣ псевдо-классицизма намъ еще придется сказать нѣсколько словъ;

¹⁾ При ближайшемъ изученіи этотъ общій сѣрый фонъ несомнѣнно является окрашеннымъ различными авторскими индивидуальностями — см. объ
v «Историко-литературную бібліотеку»; но въ данномъ случаѣ мы
... только общимъ взглядомъ на этотъ фонъ.

вное же наше вниманіе мы остановимъ на немногихъ представителе-
съ *анти-мѣщанства*, въ той или иной его окраскѣ.

«Петръ Россамъ далъ тѣла, Екатерина—душу»—это несомнѣн-
нѣ истина съ хронологической точки зрѣнія: дѣйствительно, съ ека-
терининской эпохи начинается въ Россіи ростъ *общественнаго само-*
манія, которое составляетъ «душу живу» каждаго народа; съ ека-
терининской эпохи начинается поэтому исторія русской литературы
содержанію, также какъ съ Петра и Ломоносова исторія эта на-
лась по формѣ. Насколько во всемъ этомъ велика заслуга самой
атерины—вопросъ, на который съ нашей точки зрѣнія не можетъ
тъ двухъ отвѣтовъ: роль личности въ исторіи мы вообще не при-
аемъ настолько существенной, чтобы объяснить ею начало возник-
венія новой и значительной эпохи. Особенно это относится къ
ласти государственной и общественной жизни; что же касается са-
й литературы, то въ этой области значеніе Екатерины слишкомъ
лозначительно. Несмотря на это, нельзя не отмѣтить появленіе зна-
нитаго «Наказа» (1765—1767 гг.) — попытки Екатерины одухотво-
ть и обработать сырой матеріаль, доставшійся ей въ наслѣдство отъ
тра. Для насъ второстепенное значеніе имѣетъ тотъ фактъ, что
[аказъ]—произведеніе не оригинальное, заимствованное, а также и
, что онъ никогда не былъ проведенъ въ жизнь, вслѣдствіе реак-
ннаго поворота мыслей самой императрицы; для насъ это произве-
ніе интересно, какъ первое оффиціальное провозглашеніе *правъ че-*
овѣка; хотя въ немъ мы имѣемъ дѣло не съ реальной личностью, а
абстрактнымъ человѣкомъ—но это было удѣломъ всѣхъ русскихъ
ществениковъ XVIII-го вѣка, и не только ихъ однихъ, а и боль-
инства мыслителей и общественныхъ дѣятелей того времени: даже
Франціи великая французская революція 1789 г. положила въ осно-
ніе интересы абстрактнаго человѣка, а не реальной личности. Вездѣ
я имѣемъ дѣло съ тѣмъ общимъ математическимъ интеграломъ,
оторый носить названіе Человѣка, и который фиксироваль свое су-
ествованіе въ деклараціи правъ Человѣка и Гражданина (*declaration*
des droits de l'Homme—непремѣнно съ большой буквы).

Личность можетъ свободно развиваться только тогда, когда
лчилъ свои права человѣкъ; и восемнадцатый вѣкъ былъ э-
звобожденія абстрактнаго человѣка. Теоретически это прѣ-
же въ «Наказѣ», въ подражаніе западнымъ образцамъ, и г-
ь настолько рѣзкихъ формахъ, что французскій перевол-
аль запрещенъ во Франціи (въ 1769 г.). «Наказъ»
гоитъ вообще за полное освобожденіе «человѣка», ?

за уничтоженіе административнаго ареста (гл. IX), за полную вѣро-
терпимость (гл. XX), за введеніе всеобщаго обученія (гл. X). Все это—
r^{ia desideria} даже въ настоящее время, а потому тѣмъ болѣе инте-
ресенъ фактъ одной возможности появленія и высказыванія этихъ
принциповъ въ серединѣ XVIII-го вѣка въ Россіи; и нужно было быть
поистинѣ великой государыней, чтобы хоть отчасти провести «На-
казъ» въ жизнь, чтобы не оставить его мертвой буквой. Но книга
эта появилась на свѣтъ мертворожденной, она была дѣломъ случая,
а не выраженіемъ общественнаго самосознанія; и Екатерина очень
скоро отеклась отъ своей книги: по крайней мѣрѣ десять лѣтъ спустя
она находила, что «cette piéce est un vrai babil, dans lequel on ne
trouve ni connaissance des choses, ni prudence, ni prevoiance» (письмо
къ Гримму, 1775 г.).

× Общественное сознание проявилось не въ «Наказѣ», но въ одномъ
литературномъ событіи, одновременномъ ему: мы говоримъ о заро-
жденіи русской журналистики и выступленіи на историческую сцену
ряда общественныхъ дѣятелей и работниковъ—съ Новиковымъ во
главѣ и съ Радищевымъ въ видѣ эпилога. Вотъ къ этому эпизоду се-
редины восемнадцатаго вѣка и относится фактъ зарожденія и начала
концентраціи русской интеллигенціи, какъ проявительницы обществен-
наго самосознанія. Интеллигенція эта была внѣсословной—и эта без-
сословность осталась навсегда наиболѣе типичнымъ признакомъ группы,
объединяемой подъ понятіемъ интеллигенціи. Это не противорѣчитъ
тому, что въ разныя эпохи интеллигенція заключала въ себѣ то или
иное сословное большинство; такъ, въ эпохѣ «Наказа» окончательно
сформировалось дворянство, прониклось сознаниемъ своихъ правъ и,
въ лучшей своей части, стало сознавать и свои внѣсословныя обязан-
ности. Иначе говоря, интересы этой интеллигенціи никогда не были
сословными; если даже интеллигенція иногда и была болѣе или менѣе
сословной (до середины XIX-го вѣка большинство ея составляло дво-
рянство), то зато она никогда не была классовой—напримѣръ, «земле-
владѣльческой»—такъ какъ классовые интересы (для помѣщиковъ—дво-
рянъ—землевладѣльческіе) оставались за бортомъ интеллигенціи. Въ
этомъ была и есть ея слабость, но въ этомъ также и источникъ ея
неизсякающей силы. Какъ бы то ни было, но сословное большинство
интеллигенціи не внесло въ нее сословныхъ и классовыхъ интересовъ:
права человѣка стали основой работы этой интеллигенціи; въ Россіи
неизбѣжно должно было свестись на борьбу съ фактомъ, наибо-
рушающимъ права человѣка—съ крѣпостнымъ правомъ. Итакъ,
ый планъ вполнѣ естественно были выдвинуты интересы абстракт-

наго челоуѣка. Началась политическая борьба, неизбѣжно умѣвшая въ своей основѣ требованія соціальной реформы.

Въ 1769 г. появились на свѣтъ сатирическіе журналы—и мало-по-малу въ мертвыя литературныя формы стало вливаться живое содержаніе, русская интеллигенція впервые проявила себя. Первый и неожиданный для самого себя толчокъ въ этомъ направленіи далъ авторъ «Наказа»: первымъ сатирическимъ листкомъ была «Всякая всячина», дѣятельнымъ сотрудникомъ которой была, какъ извѣстно, Екатерина II. Но этотъ журнальчикъ является родоначальникомъ остальныхъ только по времени, а не по духу; въ томъ же 1769-мъ году Новиковъ сталъ издавать свой знаменитый «Трутень», направленіе котораго, проявлявшее въ себѣ общественное самосознаніе, было нѣсколько неожиданно для императрицы. Во «Всякой всячинѣ» почти полное отсутствіе какого-либо общественнаго значенія, отсутствіе нападокъ не только на «особь», но и на «порки»—для того, «чтобы не оскорблять челоуѣчество»; съ первыхъ же шаговъ журналъ этотъ впалъ въ духъ умеренности и аккуратности, сталъ осуждать излишества обличеній (особенно «Трутня»), совѣтовалъ не только обличать, но также и восхвалять «твердаго блюстителя вѣры и закона, хвалить сына отечества, пылающаго любовію и вѣрностью къ государю»... Новиковъ, конечно, не могъ стать на оффиціально-оптимистическую точку зрѣнія придворнаго журнала и выступилъ въ своемъ «Трутнѣ» не только съ мелкими нападками на галломанію, но выдвинулъ впередъ болѣе серьезные вопросы о неправосудіи, о злоупотребленіи помѣщичьей властью, о крѣпостномъ правѣ. Рѣзкое осужденіе порядковъ современнаго строя Новиковымъ (а Новиковъ былъ только представителемъ зародившейся интеллигенціи) не могло прійтись по сердцу Екатеринѣ; интересно со многихъ точекъ зрѣнія ея письмо во «Всякую всячину», направленное противъ общественной сатиры новиковскаго «Трутня». Разные «дурные шмели» прожужжали всѣ уши Патрикею Правдомыслову (псевдонимъ Екатерины) о неправосудіи въ Россіи. Гдѣ же причина неправосудія,—спрашиваетъ Патрикей:—въ законахъ, въ судьяхъ или въ насъ самихъ? Оказывается, что законы наши лучше, чѣмъ въ Европѣ, судьи тоже хороши—и все зло въ насъ самихъ. Лекарствъ простое: «любезные сограждане», перестанемъ быти злыми—не будемъ имѣти причины жаловаться на неправосудіе»... Эта проповѣдь личнаго самоусовершенствованія, какъ панацеи всѣхъ соціальныхъ золъ, является своеобразнымъ примѣромъ ультра-индивидуалистическаго движенія противъ общественныхъ запросовъ и тенденцій. ультра-индивидуалистическомъ общественномъ квіетизмѣ

не малая доля мѣщанства, какъ мы убѣдимся въ этомъ впоследствии, при знакомствѣ съ мировоззрѣніемъ 80-хъ годовъ XIX-го столѣтія.

Въ 1770 г. «Всякая всячина» прекратила свое существованіе по желанію императрицы, вмѣстѣ съ чѣмъ принуждены были прекратиться всѣ остальные сатирическіе листки, а съ ними и «Трутень»—безъ всякаго желанія со своей стороны: «противъ желанія моего, читатели, я съ вами разлучаюсь», читаемъ мы въ XVII-мъ и послѣднемъ листѣ этого журнала. Но онъ воскресъ черезъ два года подъ новымъ заглавіемъ: въ 1772 г. появился «Живописецъ», въ которомъ главную роль попрежнему игралъ Новиковъ и въ которомъ можно предполагать участіе Радищева. Начиная изданіе журнала, Новиковъ посвятилъ его «Неизвѣстному автору комедіи «О, время!» (т.-е. Екатеринѣ II): «...вы первый—пишетъ Новиковъ—съ такой благородной смѣлостью напали на пороки, въ Россіи господствовавшіе... Вы открыли мнѣ дорогу, которой я всегда страшился»... Всю язвительность такого посвященія легко понять, если вспомнить, что за два года до него «Трутень» погибъ по желанію того же самаго автора комедіи «О, время!» Въ «Живописцѣ» во главу угла попрежнему была положена борьба съ крѣпостнымъ правомъ, борьба за права человѣка. Русская интеллигенція того времени впервые сѣмѣла выйти изъ узкихъ границъ сословныхъ интересовъ: будучи въ большинствѣ своемъ дворянской, она отказалась защищать тѣ свои сословные интересы, которые опирались на крѣпостное право. Это одна изъ причинъ, почему, напримѣръ, Татищевъ и люди его партіи—иногда люди весьма замѣчательные и образованные—не составляли интеллигенціи своего времени: точка зрѣнія ихъ была вполне сословной и классовой. Отказаться отъ сословной точки зрѣнія сѣмѣла только лучшая часть русскаго дворянства къ началу екатерининской эпохи. Нагляднѣе всего это проявилось въ отношеніи къ крѣпостному праву. Новиковъ въ «Живописцѣ» напалъ на крѣпостное право съ гораздо большей рѣзкостью, чѣмъ бывало въ «Трутнѣ»; пересматривая листы «Живописца», часто читаешь какъ будто отрывки изъ «Путешествія» Радищева, сотрудничество котораго и предполагается въ этомъ журналѣ. Вотъ, напримѣръ, небольшой «Отрывокъ изъ путешествія»: «Бѣдность и рабство повсюду встрѣчались со мною во образѣ крестьянъ»—записываетъ путешественникъ, и возмущается тѣмъ, что ропотъ можно услышать только изъ устъ грудныхъ младенцевъ. «Кричите, бѣдныя твари! произносите жалобы свои! Наслаждайтесь послѣднимъ симъ удовольствіемъ въ младенчествѣ: когда возмужаете, тогда и сего утѣшенія лишитесь»... («Живо-

писецъ», листъ V). И въ оглавленіи, и въ самомъ слогѣ вы слышите здѣсь Радищева ¹⁾).

Въ нашу задачу не входитъ разсказъ о дальнѣйшихъ судьбахъ сатирическихъ журналовъ; мы ограничиваемся указаніемъ на нихъ, какъ на доказательство наличности силъ зародившейся русской интеллигенціи. Общественное теченіе, представительницей котораго она была, являлось теченіемъ глубоко анти-мѣщанскимъ уже по однимъ своимъ воззрѣніямъ на задачи и цѣли литературы. Для псевдоклассицизма литература была возвышеннымъ пѣвическимъ пареніемъ, настолько же безжизненнымъ, насколько и узкимъ; для Державина и его школы «забавнаго русскаго слога» литература была «любезна... какъ лѣтомъ сладкій лимонадъ»—взглядъ достаточно плоскій, чтобы быть отчасти и мѣщанскимъ; для Новикова, Радищева, а отчасти Фонвизина и другихъ литература—общественное служеніе, а потому она должна быть прежде всего жизненной и не заматорѣвшей въ засохшихъ формахъ. Отсюда и быстрота усвоенія наиболѣе удобной въ то время, жизненной и широкой формы сатирическихъ листковъ; отсюда и жизненность животрепещущаго содержанія, діаметрально противоположнаго квіетизму мѣщанства. Права человѣка—знамя этого теченія, наиболѣе рѣзкимъ представителемъ котораго явился немного позднѣе Радищевъ, а наиболѣе «литературнымъ» представителемъ Фонвизинъ.

Фонвизинъ уже въ своемъ «Бригадирѣ», написанномъ годомъ раньше появленія сатирическихъ журналовъ, но годомъ позже изданія «Наказа», слегка касается общественныхъ вопросовъ, хотя главнымъ образомъ вся сила его насмѣшки обращена на галломанію современнаго ему общества. Но въ нѣкоторыхъ немногихъ мѣстахъ у него неожиданно прорывается сарказмъ болѣе серьезнаго тона. Такъ, напримѣръ, Совѣтница неожиданно изрекаетъ одинъ изъ членовъ сословнаго символа вѣры: «мы всѣ дворяне, мы всѣ равны», говоритъ она вздыхая (Дѣйствіе I, явл. I). Это именно та сословная и весьма упрощенная точка зрѣнія, которая замѣняетъ права человѣка правами дворянина, по которой родъ человѣческой дѣлится на дворянъ и

¹⁾ Обыкновенно эти строки приписываются Новикову, такъ какъ статья эта подписана «И. Т.»—т.-е., по предположенію, «Издатель Трутня». Гораздъ вѣроятнѣе, однако, что этотъ «Отрывокъ изъ Путешествія» принадлежитъ *И. П. Тургенева*, на что указалъ еще Колюпановъ въ своей извѣстной графіи А. И. Кошелева» (т. I, ч. I, стр. 30). Впрочемъ Колюпановъ полагаетъ только вѣроятность такого предположенія; возможное авторство Р еще не опровергнуто окончательно.

скотовъ, противъ которой съ такой энергіей возстала русская интеллигенція екатерининской эпохи. Фонвизинъ стоялъ въ ея рядахъ и хотя мелькомъ, но зато со всей силой своей ироніи подкапывался подъ самый фундаментъ сословно дворянскаго міровоззрѣнія—подъ крѣпостное право. Онъ списывалъ съ натуры яркія сценки, наглядно иллюстрирующія основную точку зрѣнія рабовладѣльческой массы; вотъ, напримѣръ, извѣстный діалогъ:

Бригадирша. Перемѣнимъ, свѣтъ мой, рѣчь. Пожалуй, скажи мнѣ, что у васъ идетъ людямъ: застольное или деньгами? свой ли овесъ ѣдятъ лошади, или купленный?

Сынъ. Съ плюз-эньтерессанъ.

Совѣтница. Шутишь, радость. Я почему знаю, что ѣсть вся эта скогина?

(«Бригадиръ». Дѣйствіе I, явл. I).

То же самое и въ знаменитой сценкѣ изъ «Недоросля», гдѣ госпожа Простакова отъ души возмущается, что дѣвка Палашка заболѣла, лежитъ и бредитъ: «Лежитъ! Ахъ, она бестія! Лежитъ! Какъ будто благородная!.. Бредитъ бестія! Какъ будто благородная! (Дѣйствіе III, явл. IV). Это ярко и картинно.

Вообще «Недоросль», въ интересующемъ насъ отношеніи, гораздо ярче «Бригадира», не говоря уже о другихъ произведеніяхъ Фонвизина; въ этомъ ясно сказался тотъ фактъ, что «Недоросль» появился черезъ десятокъ съ лишнимъ лѣтъ послѣ сатирическихъ листковъ (именно въ 1782 г.), и на немъ несомнѣнно отразилось ихъ вліяніе: это можно доказать вполне убѣдительно и можетъ составить содержаніе отдѣльной монографіи. Въ настоящее время мы не остановимся на этомъ, также какъ и на самой комедіи Фонвизина; не затрагивая ея бытовой стороны, мы скажемъ только объ ея общественномъ значеніи. Въ этомъ отношеніи «Недоросль»—продолженіе «Живописца», съ его задачей борьбы противъ крѣпостного права и, какъ частный случай этого, обличенія злоупотребленій помѣщицкой власти. Осужденіе произвола этой власти есть обвинительный приговоръ самому крѣпостному праву, и приговоръ этотъ Фонвизинъ произноситъ и косвенно и совершенно прямо. Косвенно—вся комедія построена на этой мысли; иронія автора направлена на госпожу Простакову—хотя бы въ приведенномъ выше ея восклицаніи. Но этого было мало. Мало потому, что такимъ тонкимъ орудіемъ, какъ иронія, трудно было пронять средняго читателя и зрителя той эпохи, когда

самая интеллигенція начинала формироваться; кромѣ косвенныхъ путей протестовъ противъ крѣпостного права, необходимо было поставить точки надъ і: и вотъ для этого выводили на сцену какого-нибудь Стародума, добродѣтельными устами котораго авторъ могъ бы высказать прямо, непосредственно свои завѣтнѣйшія мысли. Такъ и въ «Недорослѣ» авторъ провозглашаетъ устами Стародума, что «каждый долженъ искать своего счастья и выгодъ въ томъ одномъ, что законно... и что угнетать рабствомъ себѣ подобныхъ—беззаконно» (Дѣйств. V, явл. I). Въ этихъ словахъ—вся суть. Не будемъ поэтому останавливаться подробно на міровоззрѣніи Стародума (Фонвизинатождь): въ немъ можно найти не мало и мѣщанскаго,—конечно, не въ сословномъ смыслѣ,—не мало узкихъ, часто наивныхъ взглядовъ и мнѣній. Но нужно принять во вниманіе и умственный кругозоръ громаднаго большинства изъ общества екатерининской эпохи—и мы тогда не удивимся, что публика горячо апплодировала Стародуму, который «съ важнымъ чистосердечіемъ» изрекалъ истины, въ родѣ: «должность! А! мой другъ!.. Подумай, что такое должность!.. Еслибы такъ должность исполняли, какъ о ней твердятъ,—всякое состояніе людей осталось бы при своемъ любочестіи и было бы совершенно счастливо» (Дѣйств. IV, явл. II). Какой, съ Божьей помощью, поворотъ! Это уже не протестъ противъ крѣпостного права, а рецептъ самоусовершенствованія: это перифраза словъ Екатерины: «любезные сограждане! перестанемъ быть злыми»—и все пойдетъ великолѣпно. Это показываетъ, что Фонвизинъ колебался въ рѣшеніи вопроса о правахъ и интересахъ личности: съ одной стороны, «угнетать рабствомъ подобныхъ себѣ—беззаконно»; съ другой—самосовершенствованіе и исполненіе «должности» каждымъ могли бы дать счастье и въ рабствѣ, и дворянство «осталось бы при своемъ любочестіи». Но все это имѣетъ для насъ второстепенное значеніе; важно подчеркнуть только основные взгляды Фонвизина. Каковы бы ни были его колебанія, его отрицательное отношеніе къ Франціи и революціи—но реакціонеромъ Фонвизинъ не былъ никогда. Въ главномъ пунктѣ его міровоззрѣніе оставалось ненарушимымъ: онъ почти всегда былъ (исключеніе отмѣчено выше) убѣжденнымъ противникомъ крѣпостного права, сатирикомъ мѣщанскихъ нравовъ и современнаго ему общества. Начиная съ проекта Императорскаго Совѣта, составленнаго имъ въ сотрудничествѣ съ Панинымъ и въ которомъ безъ обиняковъ осуждается крѣпостное право и защищаются свобода и права человѣка, продолжая «Недорослемъ» и другими болѣе мелкими вещами и кончая тѣми «Вопросами», которые вызвали такой гнѣвъ императрицы своимъ

«свободоязычіемъ»—Фонвизинъ вездѣ въ общихъ чертахъ одинъ и тотъ же защитникъ и сторонникъ правъ человѣка, какъ равноправнаго члена общества. Это позволяетъ намъ поставить Фонвизина въ первый рядъ интеллигенціи, которая знаменемъ своимъ избрала правомѣрную общественность, основанную на свободѣ абстрактнаго человѣка.

Кончаемъ съ Фонвизинимъ, отмѣчая одну характерную черту, характерную не только для него, но и для всѣхъ общественниковъ, особенно той эпохи. Общественники заботились главнымъ образомъ о благѣ «человѣка»; слово это они любили писать съ большой буквы, показывая этимъ, что ихъ интересуеетъ не живая, реальная личность, а абстрактное цѣлое, общество. Въ Россіи XVIII-го вѣка взглядъ этотъ умѣрялся тѣмъ, что абстрактный человѣкъ не добился еще самыхъ примитивныхъ своихъ правъ—внѣшней свободы личности; крѣпостная зависимость должна была пасть, чтобы русскій человѣкъ могъ свободно развивать свою личность. Вообще же общественники, независимо отъ отношенія къ крѣпостному праву, считали государство, общество и его интересы неизмѣримо болѣе важными, чѣмъ интересы живого человѣка, личности; абстрактный человѣкъ стоитъ у нихъ на первомъ планѣ, реальная личность на второмъ; почему-то считается очевиднымъ, что разъ удовлетворены интересы человѣка, то удовлетворена и личность; благо реальное приносится въ жертву абстрактному благу. Болѣе того, для блага одной части общества приносится въ жертву благо другой его части. У Фонвизина есть по этому поводу интересное мѣсто въ небольшой пьескѣ «Выборъ гувернера», написанной послѣ событій 1789 г. Стародумъ этой комедіи, Нельстествовъ, требуетъ такой жертвы, признавая ее руководящимъ принципомъ общественной пользы: «необходимо надобно, чтобы одна часть подданныхъ для блага цѣлаго государства чѣмъ-нибудь жертвовала; слѣдственно—равенства состояній и быть не можетъ;... всегда одна часть подданныхъ будетъ принесена въ жертву другой»... (Дѣйств. III, явл. V). И это мнѣніе самого Фонвизина. Что это за миѳическое «благо цѣлаго», ради котораго надо жертвовать благомъ слагаемыхъ частей?—объ этомъ общественники XVIII-го вѣка тщательно умалчиваютъ; только органическая теорія общества, имѣвшая такой успѣхъ въ Россіи во второй половинѣ XIX вѣка, попробовала дать отвѣтъ на этотъ вопросъ, какъ мы увидимъ впоследствии. Пока же ясно только одно, что теорія общественниковъ о «благѣ цѣлаго», то-есть о благѣ абстрактнаго человѣка за счетъ блага реальной личности,—является глубоко анти-индивидуалистической теоріей. Фонвизинъ въ этомъ

отношеніи является однимъ изъ самыхъ типичныхъ ^{и рѣзкихъ} противниковъ индивидуализма. Интересно однако, что онъ не дѣлаетъ всѣхъ выводовъ изъ своего основного положенія. Кого принести въ жертву кому?— вотъ въ чемъ вопросъ. Большинство общественниковъ хотѣли, чтобы и волки были сыты и овцы цѣлы: чтобъ крѣпостное право пало и чтобы дворянство процвѣло. Это не отвѣтъ, а уклоненіе отъ отвѣта. Фонвизинъ даетъ болѣе опредѣленный критерій дальнѣйшими словами Нельстецова: «остается расчислить такъ, чтобы число жертвуемыхъ соразмѣрно было числу тѣхъ, для благополучія коихъ жертвуется» (Ibid.). Слова эти написаны въ періодъ страха передъ событіями 1789 г., а потому и весьма консервативнаго отношенія къ вопросамъ внутренней жизни Россіи; но видѣлъ ли Фонвизинъ, что эти его слова—новый подкопъ подъ крѣпостное право, при которомъ число жертвуемыхъ измѣрялось милліонами, а «соразмѣрное» число благоденствующихъ—тысячами? Нечего и указывать на рѣзкій анти-индивидуализмъ такого ариѳметическаго принципа, но пока еще дѣло не въ индивидуализмѣ; мы уже сказали, что до середины XIX вѣка вопросъ о *человѣкѣ и личности* не могъ быть вдвинутъ въ надлежащія рамки, пока всепоглощающимъ общественнымъ вопросомъ былъ вопросъ освобожденія милліоновъ поработанныхъ индивидуумовъ.

Общественное теченіе русской интеллигенціи ярче и рѣзче всего проявилось въ одной изъ наиболѣе замѣчательныхъ книгъ XVIII-го вѣка, въ «Путешествіи изъ Петербурга въ Москву» Радищева (1790 г.). Книга эта явилась только логическимъ развитіемъ и продолженіемъ того, что когда-то высказывалъ Новиковъ въ «Трутнѣ» и, быть можетъ, самъ Радищевъ въ «Живописцѣ». Черезъ всю книгу проходитъ доминирующимъ мотивомъ все тотъ же старый и вѣчно юный вопросъ, но здѣсь онъ подвергся уже дальнѣйшему развитію; здѣсь раскрытіе злоупотребленій помѣщичьей власти не является цѣлью произведенія, но вопросъ поставленъ шире и рѣзче. Злоупотребленіе властью—это только темный фонъ картины; наличность «добродѣтельныхъ помѣщиковъ» не считается панацеей отъ крѣпостныхъ золъ, и вся книга—это сплошной вопль о незаконности крѣпостнаго права и о необходимости освобожденія крестьянъ, будь даже всѣ помѣщики «добродѣтельны»...

«Человѣкъ родится въ міръ равенъ во всемъ другому. Всѣ одинаковые имѣемъ члены, всѣ имѣемъ разумъ и волю»... «Всѣ равны отъ чрева матерня въ природной свободѣ, равны должны быть и въ ограниченіи оной»... «Опомнитесь заблудшіе, смягчитесь жестокосердые, разрушьте оковы братіи вашей, отверзите темницу неволи и

дайте подобнымъ вамъ вкусити сладости общежитія, къ нему же всещедрымъ уготованы яко же и вы. Они благодѣтельными лучами солнца равно съ вами наслаждаются, одинаковые съ вами у нихъ члены и чувства, и право въ употребленіи оныхъ должно быть одинаково»... («Путешествіе», гл. X и XV). Такими словами въ преддверіи XIX-го вѣка былъ высказанъ (хотя и не впервые) принципъ естественнаго права, тотъ самый принципъ, исповѣданіемъ котораго и закончился XIX-ый вѣкъ, какъ это мы увидимъ впоследствии; конечно, разница между трансцендентально-нормативнымъ пониманіемъ естественнаго права въ наше время и примитивнымъ толкованіемъ его Радищевымъ — громадна. Разница эта станетъ еще болѣе глубокой по существу, если мы укажемъ на индивидуалистическое пониманіе принципа естественнаго права мыслителями конца XIX-го вѣка и на общественное, соціальное толкованіе его Радищевымъ.

Для Радищева «человѣкъ» есть нѣкоторый собирательный типъ, съ которымъ онъ оперируетъ, какъ съ математическимъ понятіемъ. Можно сказать, что для него реальная личность не существуетъ, или по крайней мѣрѣ не существенна: прежде всего его интересуется Человѣкъ, котораго онъ любитъ писать съ большой буквы. Въ то время какъ для индивидуалиста *личность* есть нѣчто глубоко реальное, вполне конкретное, субъективное, безусловно недѣлимое, *individuum*, для общественника *человѣкъ* есть фикція, абстракція, сумма безконечныхъ многихъ слабаемыхъ; для индивидуалиста личность есть нѣкоторый дифференціалъ, быть можетъ, нѣчто и безконечно малое (индивидуалистъ можетъ признавать роль личности въ исторіи весьма близкой къ нулю, хотя, замѣтимъ въ скобкахъ, дифференціалъ можетъ и не быть безконечно малымъ), но во всякомъ случаѣ личность для индивидуалиста есть нѣчто не суммарное, нѣчто самодовлѣющее цѣлое, въ то время какъ для общественника *человѣкъ* есть нѣкоторый интегралъ, сумма безконечнаго числа безконечно малыхъ элементовъ — личностей. Вотъ почему индивидуалистъ, доводя свою точку зрѣнія до послѣдняго предѣла, можетъ стать индифферентистомъ, а часто и реакціонеромъ и обскурантомъ въ общественномъ смыслѣ: *человѣкъ*, это *ζῶον πολιτικόν*, его мало интересуется; вотъ почему также крайній общественникъ съ полнымъ безразличіемъ относится къ вопросу о благѣ личности и часто становится крайнимъ анти-индивидуалистомъ: личность для него — это «жертва вечерняя», которую безукоснительно можно и должно приносить Молоху общественной пользы.

Конечно, это двѣ крайности: ни интеллигенція конца XIX-го вѣка не была ультра-индивидуалистичной, ни Радищевъ и вообще интеллигенція конца XVIII-го вѣка не были ультра-общественными; но все же «человѣкъ» былъ главнымъ пунктомъ вниманія Радищева, подобно тому какъ личность болѣе всего занимала идеалистовъ конца XIX вѣка. Радищева всегда болѣе интересуеть форма, чѣмъ содержаніе, его занимаетъ «гражданинъ» болѣе, чѣмъ «человѣкъ», «человѣкъ» болѣе, чѣмъ «личность». Правда, онъ заявляетъ, что «гражданинъ, становясь гражданиномъ, не перестаетъ быть человѣкомъ», что «гражданинъ, въ какомъ бы состояніи небо родиться ему ни судило, есть и пребудетъ всегда человѣкъ» («Путешествіе», гл. X; ср. съ 3 строф. оды «Вольность» въ гл. XX); но главное свое вниманіе онъ сосредоточиваетъ именно на гражданинѣ, на правахъ гражданина и человѣка. Иначе и быть не могло въ то время, когда прежде всего приходилось бороться за права миллионъ отдѣльныхъ личностей, не имѣвшихъ элементарныхъ правъ человѣка. Индивидуалистическое воззрѣніе стало въ широкихъ кругахъ русской интеллигенціи возможнымъ хотя до нѣкоторой степени только послѣ 19 февр. 1861 г.; до того же времени русскіе общественники, никогда не застывая на мертвой теоретичности, неизмѣнно торопились перейти отъ теоретической части своихъ воззрѣній къ практической, отъ теоріи правъ человѣка вообще — къ частному животрепещущему вопросу о правахъ русскаго крестьянина. Великая задача раскрытія человѣка до 60-хъ годовъ XIX-го вѣка спасала даже крайнихъ общественниковъ изъ среды русской интеллигенціи отъ безжизненной теоретичности, сказавшейся впервые именно въ концѣ 60-хъ годовъ въ теоріяхъ русскихъ учениковъ Спенсера. И самъ Радищевъ, несмотря на свое увлеченіе «человѣкомъ», никогда не впадалъ въ ту ошибку преклоненія предъ мертвой схемой, въ которую впадали многія группы русской интеллигенціи шестидесятыхъ-семидесятыхъ годовъ XIX-го вѣка. Мы увидимъ впоследствии, какъ Чернышевскій и Михайловскій, отстаивая основныя положенія народничества, боролись съ Молохомъ «національнаго богатства», которому эпигоны западничества готовы были жертвовать народнымъ благосостояніемъ; борьба эта велась за реальную личность и противъ абстрактнаго человѣка. Тѣмъ интереснѣе отмѣтить, что и «общественникъ» Радищевъ стоялъ принципіально на той же точкѣ зрѣнія, заявляя, что для него важно не національное богатство, а народное благосостояніе. Описывая («Путешествіе», гл. XVI) имѣніе одного помѣщика, хозяйство котораго было въ цвѣтущемъ состояніи и который славился

какъ «знаменитый земледѣлецъ», въ то время какъ крестьяне его голодали, Радищевъ обращается съ слѣдующими словами къ этому организатору «культурнаго» хозяйства: «варвары! недостойны ты носить имя гражданина! Какая польза государству, что нѣсколько тысячъ четвертей въ годъ болѣе родится хлѣба, если тѣ, кои его производятъ, читаются наравнѣ съ воломъ, опредѣленнымъ тяжкую вздирати борозду? Или блаженство гражданъ въ томъ почитаемъ, чтобы полны были хлѣба наши житницы, а желудки пусты? чтобы одинъ благословлялъ правительство, а не тысячи?.. И суть люди, которые, взирая на утучненныя нивы сего палача, ставятъ его въ примѣръ усовершенствованія въ земледѣліи!... Здѣсь въ примитивной формѣ затронуть тотъ мотивъ, которому впослѣдствіи суждено было стать лейтъ-мотивомъ русскаго народничества; это одно уже достаточно показываетъ, что Радищевъ никогда не жертвовалъ личностью ради человѣка, несмотря на всѣ свои общественныя тенденціи. Иначе и быть не могло со стороны того человѣка, душа котораго «страданіями человѣчества уязвлена стала»...

Судьба, постигшая Радищева, слишкомъ извѣстна: представитель первой группы русско́й интеллигенціи, онъ сталъ и первымъ мученикомъ ея. Но зато книга его, завершившая собою теченіе русской литературно-общественной мысли XVIII-го вѣка, стала первымъ кирпичемъ того зданія, надъ постройкой котораго трудилась вся русская интеллигенція XIX-го столѣтія.

Первая ласточка не дѣлаетъ весны, но предвозвѣщаетъ ее, хотя и можетъ замерзнуть сама отъ вьюгъ и морозовъ. Радищевъ погибъ, но указалъ дорогу многимъ; преемственная связь въ группѣ русской интеллигенціи съ тѣхъ поръ не прекращалась. Мы вспомнимъ здѣсь одного изъ передовыхъ бойцовъ русской интеллигенціи того времени — И. П. Пнина, какъ типичнаго показателя связности и преемственности слѣдующихъ поколѣній интеллигенціи. Въ то время какъ блестящій и блещущій шумихой фразъ либерализмъ «Наказа» сыгралъ роль крыловской синицы и съ удивительной легкостью обратился въ послѣдовательнѣйшее реакціонерство и обскурантизмъ, въ среднихъ слояхъ русскаго общества создавалось шагъ за шагомъ опредѣленное общественное направленіе, не блещущее звонкими фразами, но не рискующее впасть въ «рецидивы обскурантизма». Вокругъ Новикова и Радищева мы замѣчаемъ тѣсный кружокъ такой интеллигенціи, и Пнинъ былъ однимъ изъ наиболѣе видныхъ наслѣдниковъ возрѣвннй этого кружка. Его «Опытъ о просвѣщеніи» (1804 г.) показываетъ, какъ быстро шло развитіе русской интеллигенціи того

времени; это уже не вопль «уязвленного» человека, а научный трактатъ, первая попытка построения мировоззрения. Правда, основные положения заимствованы у Бентама; это теория утилитаризма («Опытъ о просвѣщеніи» стр. 12—15), это принятіе за цѣль «величайшее блаженство величайшаго числа людей» (Ib. 35); но дѣло не въ оригинальности воззрѣній, до которой русская интеллигенція дошла только въ сороковыхъ годахъ XIX-го столѣтія,—дѣло въ искренности убѣжденій. Пнинъ, подобно Радищеву, убѣжденный общественникъ. Хотя онъ и различаетъ человека отъ гражданина (Ib., 23), но не отличаетъ человека отъ личности; свободу онъ отождествляетъ съ анархіей и считаетъ ее метафизическимъ понятіемъ и исчадіемъ французской революціи (Ib., 26—7). Однако мы уже встрѣчаемъ у Пнина сознание необходимости синтеза личности и общества (Ib., 31). Синтезъ этотъ Пнинъ считаетъ возможнымъ произвести путемъ признанія собственности главнымъ принципомъ права; равенства существовать не можетъ, это «исчадіе раздоровъ», а признаніе ненаружимаго принципа собственности ведетъ къ признанію личной безопасности гражданина, а главное—къ освобожденію всѣхъ крестьянъ съ землей (Ib., 33, 41—3, 51—4 и др.). Исходя отъ совершенно другихъ основаній, Пнинъ пришелъ къ тому единственному выводу, который въ свою очередь былъ основаніемъ всѣхъ воззрѣній русской интеллигенціи XVIII-го вѣка ¹⁾. Эта общественная задача, стоявшая передъ русскимъ интеллигентомъ, задача раскрѣпощенія человека, отгѣснила на задній планъ всѣ попытки личности выступить впередъ. Человекъ, какъ правовое отвлеченіе одного только начала свободы, и даже еще абстрактнѣе: человекъ, какъ представитель вида homo sapiens, какъ типъ—вотъ что главнымъ образомъ выдвигалось на первый планъ. У Пнина есть на эту тему интересная ода «Человекъ» (см. «Журналъ Россійской словесности», 1805 г., № 1), служащая необходимымъ дополненіемъ знаменитой «Одѣ на вольность» изъ «Путешествія» Радищева (существуетъ мнѣніе, что эта ода также принадлежитъ Пнину). Ода «Человекъ» — панегирикъ типичнаго и убѣжденнаго общественника обществу и человеку, какъ представителю его; могущество мысли человека, его положеніе выше «всѣхъ существъ другихъ» — вотъ что восхваляетъ Пнинъ въ своей одѣ:

... Я Человека пѣть готовъ.
Природы лучшее созданье,

¹⁾ Эта точка зрѣнія Пнина, повидимому, заимствована имъ отъ Фихте—см. его «Основы естественнаго права» («Grundlage des Naturrechts», 1796 года, стр. 191). О знакомствѣ съ Фихте—см. ниже гл. VI.

Къ тебѣ мой обращаю стихъ,
Къ тебѣ стремлю мое вниманье!
Ты краше всѣхъ существъ другихъ...

Казалось бы, что такая антропоцентрическая точка зрѣнія поможетъ подойти къ индивидуализму, покажетъ, что *личность* является основнымъ началомъ, такъ высоко поднимающимъ чело­вѣка. Но XVIII-ый вѣкъ не могъ смотрѣть на этотъ вопросъ такъ широко; онъ не понималъ, что такое «личность, а цѣнилъ одну изъ ея сторонъ, также абстрагируя ее: мысль.

Ты царь земли, ты царь вселенной,
Хотя ничто въ сравненіи съ ней;
Хотя ты прахъ одинъ возженный,
Но мыслію великъ своей!..
Какой умъ слабый, униженный
Тебѣ дать имя *червя* смѣлъ?
То рабъ несчастный, заключенный,
Который чувства не имѣлъ..
Прочь, мысль презрѣнная! ты сродна
Душамъ преподлыхъ лишь рабовъ!..

Всѣ эти риторическіе вопросы и непочтительные эпитеты по всей вѣроятности относятся къ Державину, который не упускалъ случая подчеркнуть ничтожество чело­вѣка. Мы увидимъ черезъ нѣсколько страницъ, что, несмотря на это, Державинъ былъ въ неизмѣримо бол­ьшей степени индивидуалистомъ, чѣмъ Радищевъ или Пнинъ, такъ высоко ставящій чело­вѣка; причина уже указана выше: не о живомъ чело­вѣкѣ, не о личности говоритъ Пнинъ, а объ абстрактномъ чело­вѣкѣ, о Чело­вѣкѣ съ большой буквы. И въ своей одѣ онъ сейчасъ же пользуется случаемъ свернуть на основную проблему раскрытія чело­вѣка:

Въ какомъ пространствѣ зрю ужасномъ
Раба отъ *Человѣка*. я:
Одинъ, какъ солнце въ небѣ ясномъ,
Другой такъ мраченъ, какъ земля.
Одинъ есть все, другой ничтожность,
Когда-бъ позналъ свою рабъ должность,
Спросилъ природу, разсмотрѣлъ—
Кто бѣдствій всѣхъ его виною?
Тогда бы тою же рукою
Сорвалъ онъ цѣпи, что надѣлъ.
Прими мое благоговѣнье,
Зиждитель-Человѣкъ! Прими!..

Восхваляя видъ «*homo sapiens*», Пнинъ незамѣтно перешелъ къ мотивамъ «Оды на вольность»; но и въ томъ и въ другомъ случаѣ очевидно, что центръ тяжести его мысли заключенъ въ человѣкѣ, а не личности, и въ этомъ отношеніи Пнинъ — прямой наслѣдникъ Новикова и Радищева, типичный представитель народившейся русской интеллигенціи XVIII вѣка. Мы теперь на время простимся съ этимъ теченіемъ до одной изъ слѣдующихъ главъ, въ которой будетъ идти рѣчь о декабристахъ, подъ которыми мы подразумѣваемъ рядъ дѣятелей, дѣйствовавшихъ въ періодъ 1815 — 1825 г.; всѣ они, также какъ и Пнинъ, наслѣдники и продолжатели Радищева и его кружка; это люди, составлявшіе передовую часть внѣклассовой и внѣсословной интеллигенціи. Мы видѣли въ чемъ заключалась работа этой интеллигенціи въ преддверіи XIX-го вѣка: она заключалась въ борьбѣ за права абстрактнаго человѣка; сатирическіе листки, Новиковъ, Радищевъ, Фонвизинъ, Пнинъ — всѣ внесли сюда свою лепту. Мы знаемъ, что это теченіе мало интересовалось реальной личностью и признавало человѣка за нѣкоторый интеграль; благо общества, благо миллионъ, «величайшее блаженство величайшаго числа людей» — вотъ что было ихъ идеаломъ. Они были первыми «кающимися дворянами», они первые мучительно почувствовали страданія народа и задолго до Герцена и Тургенева дали ганнибалову клятву его освобожденія. Заслуги ихъ никогда не забудутся, а потому не для осужденія ихъ подчеркиваемъ мы еще разъ, что наша интеллигенція XVIII-го вѣка, занимаясь абстрактнымъ человѣкомъ, чаще всего не обращала вниманія на реальную личность. Параллельно съ теченіемъ общественнымъ шло другое теченіе, пренебрегавшее человѣкомъ и благомъ народа, не заботившееся о миллионахъ рабовъ, не терзавшееся проклятыми социальными вопросами, но мирно процвѣтавшее въ грубоватомъ эпикуреизмѣ; это теченіе, главнымъ представителемъ котораго былъ Державинъ, обращало все свое вниманіе на реальную личность, на индивидуальность. Здѣсь мы видимъ зачатки индивидуализма — правда, однобокаго, наивнаго, дѣтскаго, но все же здѣсь именно лежитъ первое зерно положительнаго отношенія къ реальной личности, къ опредѣленной и живой индивидуальности.

На сѣромъ фонѣ сплошнаго литературнаго мѣщанства XVIII-го вѣка эти два теченія выдѣляются красными нитями. Анти-мѣщанство Новикова и Радищева было направлено противъ мѣщанства жизни; Державинъ являлся протестомъ литературному мѣщанству. До Державина поэзія была «способностью выразаться мѣрной рѣчью или стихами и созвучіями или римами, въ украшенныхъ картинами и опи-

саніями сочиненіяхъ, коихъ обыкновенная рѣчь не допускаетъ»; такъ опредѣляли въ XVIII-мъ вѣкѣ поэзію. Державинъ первый приблизилъ поэзію къ жизни; онъ первый вмѣсто надутыхъ, высокопарныхъ псевдо-классическихъ одъ сталъ писать «въ забавномъ русскомъ слогѣ», и первый придалъ своимъ произведеніямъ жизненное содержаніе проведеніемъ въ нихъ двухъ основныхъ идей, характеризующихъ всю его поэзію. Конечно, эти произведенія не составляютъ даже четверти его литературнаго багажа: все остальное написано въ мертвомъ, мѣщанскомъ, ложно-классическомъ стилѣ; но, какъ въ одахъ Ломоносова прорывались искорки поэзіи, а значитъ и жизни, тамъ, гдѣ ему приходилось касаться любезныхъ его сердцу вопросовъ о «божественныхъ наукахъ» и «возлюбленной тишинѣ», такъ и у Державина жизнь и поэзія присутствуютъ тамъ, гдѣ онъ затрогиваетъ вопросъ о личности. Конечно, это еще не вопросъ объ отношеніи личности къ обществу—до такого вопроса далеко не доросъ Державинъ, со своимъ примитивнымъ эпикуреизмомъ; личность интересуется поэта главнымъ образомъ какъ объектъ для противопоставленія понятій жизни и смерти въ единичномъ, индивидуальномъ случаѣ. Жизнь и смерть реальной личности, особенно въ моментъ ихъ столкновенія, составили то содержаніе, которымъ Державинъ одухотворилъ поэзію XVIII-го вѣка. X

Литературная дѣятельность Державина начинается почти одновременно съ появленіемъ сатирическихъ листковъ, но первыя его произведенія совершенно ничтожны и заключаютъ въ себѣ все мѣщанство псевдо-классицизма. Державинъ хотѣлъ «парить», хотѣлъ «красивымъ наборомъ словъ» достичь «велелѣпія и пышности» (см. «Записки» Державина). Только въ 1779 г. появляется его знаменитая ода «На смерть князя Мещерскаго», въ которой опредѣленно звучать оба основныхъ мотива его поэзіи:

Глаголь время! металла звонъ!
Твой страшный гласъ меня смущаетъ...

такимъ похороннымъ аккордомъ начинается эта ода, а кончается эпикуреистическимъ выводомъ:

Жизнь есть небесъ мгновенный даръ:
Устрой ее себѣ къ покою...

Вотъ и вся житейская философія Державина: наивный эпикуреизмъ, покойная жизнь, непрерывное наслажденіе, а впереди—страхъ смерти, такъ какъ

На свѣтѣ жить намъ время срочно...

Въ этомъ примитивномъ міровоззрѣніи мы видимъ ясныя зачатки индивидуализма, на первый планъ выставляется реальная личность, наслаждающаяся, чувствующая и радость и боль, трепещущая передъ смертью и заглушающая свой страхъ «безпрерывнымъ весельемъ».

Доколь текутъ часы златые
И не приспѣли скорби злыя,—
Пей, ѣшь и веселись, сосѣдь!

Этотъ «сосѣдь»—живая, реальная личность, а не тотъ абстрактный «Зиждатель-Человѣкъ», передъ которымъ благоговѣйно распростирался во прахъ Пнинъ и за права котораго боролись Новиковъ и Радищевъ. Правда, и они видѣли въ крестьянинѣ живого человѣка, страдали за него, отдавали ему свою душу, но одинъ тотъ фактъ, что этихъ страдающихъ крестьянъ были миллионы, невольно заставлялъ производить абстракцію, такъ что реальная личность часто пропадала за абстрактнымъ Человѣкомъ. У Державина наоборотъ—мы не найдемъ никакого интереса къ человѣку, къ человѣчеству, къ обществу: въ его наивномъ эпикуреизмѣ сквозитъ ультра-индивидуализмъ, въ его узкомъ эгоизмѣ проглядываетъ мѣщанство, но все-таки въ его поэзіи впервые, въ дымкѣ эпикуреизма, выставлена реальная личность. Къ реальнымъ людямъ, а не къ абстрактному человѣчеству обращается Державинъ со своей проповѣдью:

Вкушать спѣшите благи свѣта:
Теченье кратко нашихъ дней...

Вы слышите въ этой проповѣди страхъ смерти—вторую основную тему поэзіи Державина, тѣсно переплетенную съ эпикуреизмомъ: «вѣкъ нашъ — тѣнь», заявляетъ поэтъ, «смерть къ намъ смотритъ чрезъ заборъ», такъ что «мы только плачемъ и взываемъ: о, горе намъ, рожденнымъ въ свѣтъ»... Если все это такъ, то... то выводъ получается самый неожиданный:

Увы!—то какъ не умудриться
Хоть разъ цвѣтами не увиться
И не оставить мрачный взоръ?...
Такъ будемъ жизнью наслаждаться
И тѣмъ, чѣмъ можемъ, утѣшаться...

Все это мелко, все это наивно — но все это жизненно и правдиво. Восемнадцатый вѣкъ былъ вѣкомъ рабства миллионѣвъ и эпохой «пиршественныхъ кликовъ» немногихъ счастливецевъ; и если общественники

боролись за права миллионѣвъ, то Державинъ былъ выразителемъ жизни великолѣпныхъ трутней, «сыновъ роскоши, прохлады и нѣгъ»; реальная личность нашла въ немъ своего поэта, и въ этомъ заключаются проблески его эпикуреистическаго индивидуализма. Кстати замѣтить, что къ вопросу о значеніи челоѣка и личности въ общемъ ходѣ жизни индивидуалистическое и общественное теченія относились также совершенно различно, причеиъ первое теченіе приравнивало челоѣка нулю, въ то время какъ второе возносило его на недосыгаемую высоту. Мы увидимъ впоследствии, что вопросъ «о роли личности въ исторіи» совершенно различенъ отъ проблемы индивидуализма, такъ что часто случается, что индивидуалисты совершенно отрицаютъ роль личности въ исторіи, въ то время какъ анти-индивидуалисты придаютъ ей большое значеніе. Такъ было и въ данномъ случаѣ. Слишкомъ извѣстно, что такое челоѣкъ, личность для Державина — совершенное ничто, «прахъ», «червь»; мы знаемъ также, какъ отвѣтилъ на это типичный общественникъ Пнинъ:

Хотя ты прахъ одинъ возженный,
Но мыслию великъ своей,—

сказалъ онъ, обращаясь къ челоѣку, и попутно косвеннымъ образомъ непочтительно назвалъ Державина «нещастнымъ заключеннымъ» и «преподлымъ рабомъ». Этотъ «преподлый рабъ», конечно, ничего не понималъ въ общественныхъ вопросахъ (что не помѣшало ему потомъ сдѣлаться министромъ), но все-таки въ его поэзіи впервые выглянула на свѣтъ божій изъ-подъ ложно-классической фѣрулы реальная, живая личность. Въ этомъ отношеніи въ Державинѣ замѣчательны не только проблески индивидуализма, но и его несомнѣнное — хотя и безсознательное — литературное анти-мѣщанство.

Восемнадцатый вѣкъ — лучшее и наиболѣе ясное предисловіе ко всей русской жизни и литературѣ XIX-го вѣка. Индивидуалистическое и общественное теченія, переплетавшіяся, боровшіяся и сливавшіяся на всемъ протяженіи послѣдняго вѣка, проявились уже въ восемнадцатомъ столѣтіи. Знамя Радищева — абстрактный челоѣкъ, Державина — реальная личность; синтезъ этихъ началъ — вотъ задача, поставленная на разрѣшеніе грядущимъ поколѣніямъ русской интеллигенціи. Какъ разрѣшалась эта задача, какъ попеременно ставились впередъ то челоѣкъ, то личность — все это составляетъ содержаніе лежащей передъ читателемъ книги; не забывая впередъ, мы только укажемъ, что уже въ восемнадцатомъ вѣкѣ была первая попытка разрѣшенія роковаго вопроса. Мы говоримъ про масонство.

Масонство — первая попытка синтеза реальной личности и абстрактного человека; по крайней мере таким оно было на русской почве. В различных группах русского масонства на первый план выдвигались то личность, то человек, то вопросы личной морали, то общественные проблемы. В так называемой «елагинской системе» русского масонства главное внимание было обращено на мистическую, символическую и обрядовую сторону; система эта совершенно устраняла не только всякие политические вопросы и задачи (о чем см. бумаги Елагина; Рейхель, Новиков), но даже и общественную деятельность, весь круг деятельности членов елагинского масонства ограничивался попытками личного нравственного развития. Но эта группа масонства была немногочисленна; главную роль в русском масонстве сыграли московские мартинисты. Они также совершенно исключали политические вопросы, но в то же время не обращали большого внимания на внешнюю, обрядовую сторону масонства; деятельность этих московских розенкрейцеров была направлена на две цели; первая была общественно просветительная, вторая касалась личной морали, при чем обе эти цели были тесно связаны между собой. В этом и заключалась попытка синтеза между индивидуализмом и общественностью. Основная задача масонства — самосовершенствование реальной личности; это несомненно черта индивидуалистическая, если она не положена во главу угла и не становится самодовлеющей целью; тогда самосовершенствование становится узостью, плоскостью и признаком самодовольного мещанства; мы будем впоследствии иметь случай подробно говорить об этом. У московских розенкрейцеров XVIII-го века самосовершенствование никогда не было искусством для искусства; оно было тесно связано с общественно-просветительными задачами и целями. Достаточной причиной этого служило уже и то, что во главе этой группы масонства стоял Новиков. Он, вместе со Шварцем, основал (в 1779 г.) знаменитое «дружеское ученое общество», а позднее (в 1784 г.) и «типографическую компанию», занявшуюся изданием просветительных книг и их возможно широким распространением. В этом соединении самосовершенствования с общественной работой мы видим первую — хотя и не формулированную — теоретическую попытку синтеза индивидуализма с общественностью, реальной личности с абстрактным человеком. Ровно сто лет спустя попытку буквально такого же синтеза мы увидим у Л. Толстого, признавшего основой всего самосовершенствования и в то же время обратившего особенное внимание на общественно-просветительную деятельность (учреждение книгоиздательства

«Посредникъ»). Разница главнымъ образомъ въ томъ, что просвѣ-
тительная дѣятельность Л. Толстого была направлена главнымъ обра-
зомъ на народъ, на крестьянство, на «милліоны грамотныхъ», которые
какъ «голодные галчата» ждутъ пищи, хлѣба духовнаго; дѣятельность
масоновъ была направлена на образованіе (въ прямомъ и переносномъ
смыслѣ) русской интеллигенціи изъ средняго дворянства и высшаго
мѣщанства. Конечно, ихъ попытка синтеза не удалась, ибо была про-
стымъ механическимъ соединеніемъ понятій личности и человѣка; но
вѣдь и нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что имъ не удалось рѣше-
ніе вопроса, до сихъ поръ остающагося открытымъ.

Дальнѣйшія судьбы русскаго масонства намъ мало интересны.
Какъ извѣстно, московскіе мартинисты возбудили противъ себя по-
дозрѣнія Екатерины II; сперва она пыталась высмѣять внѣшнія формы
масонства въ цѣломъ рядѣ комедій и памфлетовъ (1780—1786 г.,
напр., «Обманщикъ», «Обольщенный», «Шаманъ Сибирскій», «Тайна
противонелѣпаго общества»); послѣ 1789 г. были приняты болѣе крутыя
мѣры. Въ 1790 г., по прочтеніи книги Радищева, Екатерина говоритъ
про него: «тутъ разсѣваніе французской заразы, отвращеніе отъ на-
чальства, авторъ—мартинистъ»; въ другомъ мѣстѣ: «авторъ едва ли
не мартинистъ или чего подобное». Немедленно производится разгромъ
«типографической компаніи», а Новиковъ (въ 1792 г.) заточается на
15 лѣтъ въ Шлиссельбургскую крѣпость, по предположенію Карамзина
за то, что въ 1787 г. онъ организовалъ бесплатную раздачу хлѣба
голодающимъ, а прежде всего несомнѣнно за то, что онъ стоялъ во
главѣ русскаго масонства. Масонство никогда не оправилось отъ этого
погрома, хотя Новиковъ и былъ освобожденъ въ 1796 году; но съ
этихъ поръ общественно-просвѣтительное масонство все болѣе и болѣе
стало приближаться къ елагинскому толку; въ лучшемъ случаѣ оно
проявляло общественный индифферентизмъ, въ худшемъ—впадало
въ обскурантизмъ; въ первомъ десятилѣтіи XIX вѣка масоны занима-
лись писаніемъ доносовъ даже на Карамзина! И мы говорили только
о московскомъ розенкрейцерствѣ XVIII вѣка, указывая, что въ немъ
можно видѣть первую попытку синтеза реальной личности и абстракт-
наго человѣка.

Итакъ, въ восемнадцатомъ вѣкѣ мы уже имѣемъ постановку
той проблемы, надъ рѣшеніемъ которой истратила такъ много силъ
интеллигенція XIX вѣка. Проблема о личности и обществѣ родилась
одновременно съ появленіемъ русской интеллигенціи, и сразу, съ са-
мага начала опредѣлились тѣ три основныхъ теченія, которыя только
и могутъ возникнуть при рѣшеніи этой проблемы. Первое—обществен-

ность, выставленіе на первый планъ «человѣка»; если теченіе это въ то же время совершенно игнорируетъ «личность», то оно становится анти-индивидуализмомъ. Второе—индивидуализмъ, выставленіе на первый планъ «личности»; если теченіе это въ то же время совершенно игнорируетъ «человѣка», то оно становится ультра-индивидуализмомъ. Третье, наконецъ, — синтезъ индивидуализма и общественности; въ зависимости отъ того, что превалируетъ въ этомъ синтезѣ, человѣкъ или личность, онъ можетъ носить индивидуалистическій или анти-индивидуалистическій характеръ. Все это можно прослѣдить и на явленіяхъ русской жизни и литературы XVIII вѣка. Въ наивномъ эпикуреизмѣ Державина мы видѣли зародышъ ультра-индивидуализма; въ сатирическихъ листкахъ и въ произведеніяхъ Новикова, Фонвизина, Радищева, Пнина—начало общественнаго теченія; въ масонствѣ московскихъ розенкрейцеровъ—первую попытку синтеза, попытку, принимавшую все болѣе и болѣе индивидуалистическій характеръ, растворившуюся въ ультра-индивидуализмѣ самосовершенствованія, а потому и впавшую въ окончательное мѣщанство: мы увидимъ впослѣдствіи, что очень часто ультра-индивидуализмъ пріобрѣтаетъ вполне мѣщанскую окраску. Въ этихъ основныхъ теченіяхъ XVIII-го вѣка лежатъ всѣ зерна литературнаго и общественнаго развитія слѣдующаго столѣтія, такъ что въ преддверіи XIX-го вѣка мы знакомимся со схемой дальнѣйшей эволюціи русской мысли и направленія русской интеллигенціи: «какъ солнце въ малой каплѣ водъ» здѣсь отразилось все будущее русской жизни и литературы.

Не надо забывать однако, что теченія эти были дѣйствительно малой каплей водъ въ томъ безконечномъ болотѣ общественнаго и литературнаго мѣщанства, которое составляло общій сѣрый фонъ XVIII-го вѣка. Новиковъ, Радищевъ, Державинъ, Фонвизинъ, Шварцъ, Пнинъ и немн. др. — вотъ имена литературныхъ и общественныхъ дѣятелей, съумѣвшихъ выбраться изъ мѣщанскаго болота; все остальное—узость, плоскость, безличность. Ложно-классицизмъ, такъ мѣтко названный Бѣлинскимъ «мѣщанствомъ во дворянствѣ», былъ деспотически царившей литературной формой; XVIII-й вѣкъ вполне заслуживаетъ названія *эпохи литературнаго мѣщанства*. Какъ это мѣщанство, такъ и анти-мѣщанскія теченія вполне опредѣлили собой направленіе литературной и общественной эволюціи XIX вѣка.

Направленіе это заключается прежде всего въ борьбѣ съ литературнымъ мѣщанствомъ: появляется «мѣщанская драма», сентиментализмъ, романтизмъ; Пушкинъ заканчиваетъ собою этотъ періодъ борьбы съ мѣщанствомъ формы. Въ то же самое время идетъ

борьба и за содержаніе этихъ формъ, идетъ борьба за челоуѣка и за личность. Эпоха литературнаго мѣщанства вызвала протестъ и борьбу, въ которой окрѣпли и выросли проблемы индивидуализма и общественности, заполнившія своимъ содержаніемъ весь девятнадцатый вѣкъ и составляющія въ исторіи своего развитія основное содержаніе исторіи русской интеллигенціи.
